**Символ и язык как структура и граница поля психоанализа**

Жак Лакан

Напомним, что именно путем редукции истории отдельного субъекта нащупывает анализ те гештальты отношений, которые и экстраполирует затем в регулярную схему. Причем ни генетическая психология, ни психология дифференциальная, на которые анализ проливает некоторый свет, к его ведомству не относятся, ибо требуют условий наблюдения и опыта, которые с условиями психоанализа сближаются в лучшем случае чисто омонимически.

Больше того, все то, что вырисовывается как "сырая" психология обыденного опыта, который разве что мыслители-профессионалы отождествляют с опытом чувственным, - сюда относится, скажем, изумление, которое, отложив житейское попечение, испытываем мы, наблюдая как соединяются существа в нелепые пары, чья гротескность оставляет позади фантазии Гойи и Леонардо, или удивление, которым свойственная коже плотность отвечает на ласку ладони, в которой радость открытия не ослаблена еще желанием- все это, собственно говоря, начисто упраздняется в опыте аналитическом, которому не по душе такие причуды и претят подобные тайны.

Как правило, о свойственной нашему пациенту чувствительности к ударам и цветам, о быстроте его реакций, о уязвимых местах его тела, о его памяти и изобретательности, даже о живости его вкуса, мы узнаем в процессе психоанализа совсем немного, что не мешает ему успешно идти к своей цели.

Но парадокс это чисто иллюзорный и вовсе не говорит о несостоятельности психоаналитика; и если можно мотивировать его отрицательными условиями нашего опыта, то тем более не дурно было бы посмотреть, что этот опыт несет в себе положительного.

Ибо парадокс этот не разрешается усилиями тех, кто- подобно философам, которых Платон высмеивает за то, что из жажды реального они бросаются обнимать деревья, - принимают каждый эпизод, где эта ускользающая реальность пробивается на поверхность, за столь лакомую для них реакцию переживания. Не они ли сами, устремляясь к тому, что лежит по ту сторону языка, реагируют на предписываемый нашими правилами "запрет прикосновения" своего рода одержимостью. Принюхиваться друг к другу- вот что станет конечной целью реакции переноса при таком подходе. Мы вовсе не преувеличиваем: начинающий психоаналитик в своей кандидатской практике может и в наши дни, пронюхав что-то после двух-трех лет бесплодного анализа о своем пациенте, объявить это долгожданным "объектным отношением" и стяжать тем самым наше dignus est intrare- одобрение, служащее гарантией его профессионализма.

Если психоанализ способен стать наукой (ибо он ею еще не стал), и если ему не суждено выродиться в чистую технику (похоже, это уже и произошло), мы обязаны его опыт заново осмыслить.

И самое лучшее, что мы можем для этого сделать, это вернуться к учению Фрейда. Если вы считаете себя практиком, то это не значит, что вы можете позволить себе, не понимая Фрейда III, отвергать его во имя Фрейда II, которого вы якобы понимаете; а полное игнорирование Фрейда I вовсе не дает вам повода считать пять его великих психоанализов серией неудачно выбранных и дурно изложенных случаев, в которых разве что чудом каким-то избежало гибели скрытое в них зерно истины (15).

Раскройте одно из первых произведений Фрейда (Traumdeutung), и эта книга напомнит вам, что сон имеет структуру фразы или, буквально, ребуса, т.е. письма, первоначальная идеография которого представлена сном ребенка и которое воспроизводит у взрослого то одновременно фонетическое и символическое употребление означающих элементов, которое мы находим и в иероглифах Древнего Египта и в знаках, которые по сей день используются в Китае.

Но это пока всего лишь техническая дешифровка. Лишь с переводом текста начинается самое главное- то главное, что проявляется, по словам Фрейда, в разработке сновидения, т.е. в его риторике. Синтаксические смещения, такие как эллипс, плеоназм, гипербата, силлепс, регрессия, повторение, оппозиция; и семантические сгущения, такие как метафора, катахреза, антономазия, аллегория, метонимия и синекдоха, - вот в чем учит нас Фрейд вычитывать те намерения- показать или доказать, притвориться или убедить, возразить или соблазнить, - в которых субъект модулирует свой онирический дискурс.

Спору нет, Фрейд положил за правило всегда искать в сновидении проявление какого-то желания. Но поймем его правильно. Если мотивом сна, идущего, казалось бы, вразрез с его теорией, он признает желание противоречия со стороны субъекта, которого он попытался в ней убедить (16), то почему бы ему не признать, что, буде ему это удалось, собственный закон возвратился бы к нему уже от другого, и тот же самый мотив он мог бы по праву приписать и себе.

Словом, здесь-то и проявляется как нельзя отчетливо тот факт, что желание человека получает свой смысл в желании другого- не столько потому, что другой владеет ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его объект- это признание со стороны другого.

Кто из нас не знает по опыту, что как только анализ вступает на путь переноса - и это как раз лучший признак, что он на этот путь действительно вступил- каждый сон пациента интерпретируется как провокация, скрытое признание или отвлекающий маневр во взаимоотношениях с аналитическим дискурсом, и что в ходе анализа сны все больше и больше сводятся в своих функциях к элементам реализующегося в нем диалога?

Что касается психопатологии обыденной жизни, - области, открытой для нас другой работой Фрейда, - то ясно, что всякое несостоявшееся действие представляет собой здесь успешный дискурс, порой даже очень ловко построенный, и что при оговорке кляп в устах говорящего ослабевает ровно настолько, чтобы имеющий уши услышал.

Но обратимся непосредственно к тому месту этой работы, где говорится о случае и порождаемых им поверьях, и в частности к фактам, на которых Фрейд подробно показывает субъективную эффективность ассоциаций, связанных с числами, заданными путем немотивированного выбора, или называния наугад. В этой-то эффективности как раз и раскрываются наилучшим образом доминирующие структуры психоаналитического поля. И сделанная мимоходом ссылка на неизвестные нам интеллектуальные механизмы- не более чем смущенное извинение в полном доверии к символам, которое поколебалось разве лишь оттого, что оказалось оправданным сверх всякой меры.

Ибо если для того, чтобы допустить симптом- неважно, невротический или нет, - в сферу психоаналитической психопатологии, Фрейд требует наличия того минимума сверхдетерминации, который конституируется двойным смыслом, символом угасшего конфликта, функционирующим одновременно в конфликте настоящем, не менее символическом; если он научил нас прослеживать в тексте свободных ассоциаций восходящие разветвления этого символического древа, нащупывая в нем узлы структуры этого текста в тех точках, где вербальные формы пересекаются, - то совершенно ясно, что симптом целиком разрешается в анализе языка, потому что и сам он структурирован как язык; что он, другими словами, и есть язык, речь которого должна быть освобождена.

Для того, кто не вдумывался в природу языка, именно опыт числовых ассоциаций может сразу указать на то главное, что здесь нужно понять: на комбинаторную силу, организующую в нем (языке) двусмысленности. В этом и следует признать истинную пружину бессознательного.

Ведь если при разбиении на несколько групп последовательности цифр, образующих некоторое выбранное число, и последующем соединении образовавшихся чисел действиями арифметики, или при неоднократном делении первоначального числа на одно из полученных при разбиении новых чисел, получаются числа (17), которые в истории субъекта играют наиболее ярко выраженную символическую роль, не значит ли это, что в скрытом виде они уже были заложены в том выборе, которым они были заданы, так что если отбросить суеверную мысль, что перед нами цифры, предопределяющие судьбу субъекта, остается предположить, что именно в порядке существования их комбинаций, т.е. в том конкретном языке, который они собой представляют, и пребывает то, что анализ открывает субъекту как его бессознательное.

Мы увидим, что филологи и этнографы знают достаточно примеров комбинаторной безошибочности, обнаруживающейся в полностью бессознательных системах, с которыми они имеют дело, чтобы не удивляться высказанному нами здесь положению.

Если кто-то еще сомневается, мы вновь обратимся к свидетельству того, кто, открыв бессознательное, вправе рассчитывать на наше доверие и в поиске его местоположения- уж он-то не подведет нас.

Ибо как бы мало внимания мы ей до сих пор ни уделяли (на что, впрочем, были свои причины), Остроумие и его отношение к бессознательному остается работой самой бесспорной, ибо самой прозрачной, - работой, в которой действие бессознательного демонстрируется нам до последних тонкостей; черты бессознательного, которые нам здесь открываются- это и есть черты самого ума, запечатленные той двусмысленностью, что сообщает ему язык, оборотной стороной царских привилегий которого является "острота", способная в мгновение ока упразднить весь его строй- острота, в которой его творческая активность обнаруживает свою абсолютную произвольность; в которой его господство над реальным принимает облик вызывающей бессмыслицы; в которой юмор, отмеченный коварством свободного духа, символизирует некую истину, не произносящую своего последнего слова.

Отправимся же вслед за Фрейдом в увлекательную прогулку по восхитительно заманчивым тропам этой книги- излюбленного сада горчайшей его любви.

Здесь все существенно, все жемчужная россыпь. Ум, живущий в изгнании среди творения, которому он служит незримой опорой, знает, что волен в каждое мгновение уничтожить его. И нет таких форм этой скрытой царственности- высокомерных или коварных, щегольских или снисходительных, вплоть до самых презренных, - которые не засияли бы у Фрейда во всем великолепии своего потаенного блеска. Истории свата, в образе униженного Эроса, сына нужды и труда, странствующего по еврейским гетто Моравии, который, оказывая свои деликатные услуги жадному мужлану, неожиданно высмеивает его репликой, бессмысленность которой сразу ставит все на свои места, Фрейд комментирует: "Тот, у кого истина вырывается таким образом, на самом деле рад бывает сбросить с себя маску".

Он прав, это сама истина сбрасывает маску его устами, но сбрасывает лишь для того, чтобы ум мог укрыться за другой, еще более обманчивой: софистика служит ему стратегией, логика- приманкой, и даже комизм -способом пустить пыль в глаза. Сам ум всегда хранит дистанцию. "Остроумие предполагает некую субъективную обусловленность...: остроумно лишь то, что я таковым нахожу", - продолжает Фрейд, прекрасно зная, о чем он говорит.

Ни в какой другой ситуации выдумка субъекта не выходит в такой степени за рамки намерений индивида, нигде не чувствуется лучше то различие, которое мы между тем и другим проводим. Ведь для того, чтобы выдумка могла доставить мне удовольствие, в ней должно быть нечто странное для меня самого- больше того, чтобы она возымело действие, свойство это должно за ней сохраниться. Это связано как с нуждой в третьем лице- слушателе- присутствие которого, как ясно показал Фрейд, обязательно предполагается, так и с тем фактом, что острота никогда не теряет силы при передаче в косвенной речи. То есть когда амбоцептор, озаряемый ликованием словесного фейверка, устремляется на место Другого.

Единственное, что делает остроту неудачной, это тривиальность той истины, которая получает свое объяснение.

К нашей проблеме это имеет непосредственно отношение. Нынешнее отсутствие интереса к исследованиям в области языка символов, бросающееся в глаза при сравнении количества публикаций на эту тему до и после 1920 года, обусловлена в нашей дисциплине ни больше ни меньше как сменой ее предмета; стремление к равнению на плоский уровень коммуникации, обусловленное новыми задачами, поставленными перед психоаналитической техникой, скорее всего и послужило причиной безрадостного итога, который наиболее проницательные умы подводят ее результатам (18).

Может ли речь исчерпать смысл речи- или, точнее, в терминологии Оксфордского логического позитивизма, смысл смысла- иначе, нежели в акте ее порождения? Как видим, первородство, которое отнял было у слова Гете (-В начале было дело+) снова к нему возвращается: в начале было именно слово и мы живем в его творении, но продолжается это творение и обновляется оно лишь делом нашего ума. Оглянуться на него мы можем лишь двигаясь вперед и вперед под его напором. И рискнем мы на это, лишь зная, что следуем здесь его путями...

-Никто не должен оправдываться незнанием законов", - формула эта, являющая собой образец юмора из Судебного Кодекса, выражает, тем не менее, истину, на которой наш опыт основан и которую он подтверждает. Закон действительно известен всякому, ибо с тех пор, как первые слова признательности повлекли за собой первые дары, закон человека- это закон языка, и понадобились презренные, пришедшие и бежавшие морем данайцы, чтобы люди научились опасаться лживого слова и неискреннего дара. До тех пор, для мирных аргонавтов, связывавших узами символического обмена соплеменных обитателей островов, дары эти- сам акт дарения, предметы дара, возведение их в достоинство знака и само изготовление их- связаны со словом настолько тесно, что им и именовались (19).

Так с чего же начинается язык вкупе с законом- с этих даров, или с пароля, наделяющего их своей спасительной бессмысленностью? Ведь дары эти сами по себе уже символы, ибо символ означает союз, а они суть означающие союза, который сами же и конституируют как означаемое. Свидетельством тому тот факт, что объекты символического обмена- эти сосуды, в которые ничего не положишь, щиты, слишком тяжелые для битвы, венки, которым суждено засохнуть, пики, втыкаемые в землю, - всегда бывают либо заведомо бесполезны, либо избыточно обильны.

Но эта нейтрализация означающего- исчерпывает ли она природу языка до конца? Если да, то нельзя ли обнаружить начатки его, скажем, у морских ласточек во время тока, где материей его служит передаваемая из клюва в клюв рыба, в которой этнологи- если она действительно, как они утверждают, является средством вызвать у группы равнозначную празднику активность, - с полным правом могли бы тогда усматривать символ?

Как видите, мы не исключаем возможности поиска истоков символического поведения и вне собственно человеческой области. Но это не значит, что мы готовы допустить их происхождение из знаков, - путь, которым вслед за многими другими, последовал Жюль Массерман (20), и на котором стоит немного задержаться, не только из-за развязного тона, этому автору свойственного, но и ввиду одобрения, полученного его работой со стороны редакторов нашего официального журнала, которые по традиции, заимствованной у бюро трудоустройств, не брезгуют ничем, что может дать нашей дисциплине лишние "хорошие рекомендации".

Подумайте только, человек экспериментально воспроизводит невроз у привязанной к столу собаки, и какими хитроумными средствами: звонок, тарелка с мясом, о появлении которой этот звонок предупреждает, и некстати являющаяся тарелка с яблоками, - всего-то навсего! Уж он-то, по его собственным словам, не дает себя одурачить тем, что "мелют+- примерно так он выражается- философы, рассуждающие о проблеме языка. Он-то справится с этой проблемой в два счета!

И представьте себе, здравомыслящей выработкой условных рефлексов можно добиться, например, чтобы енот-полоскун при виде карты, на которой написано его меню, немедленно направлялся к кормушке! Нам не говорят, правда, указаны ли там цены, но зато приводят убедительную деталь: если кормушка чем-то его разочаровала, зверек возвращается и рвет обманувшую его ожидания карту, как рвет раздраженная женщина письма неверного любовника.

Таков один из пролетов моста, по которому автор проложил путь от сигнала к символу. Движение по этой дороге двустороннее, и возвращение происходит способами не менее хитроумными.

Если у человека закрепить ассоциацию между слепящим его глаза светом и звонком, и другую между звонком и приказом: сжимайте! (по-английски: contract!), то вскоре субъект, отдавая этот приказ, шепча его, или даже произнося его мысленно, сможет добиться сужения зрачков, т.е. сможет воздействовать на систему, именуемую автономной, поскольку в обычных условиях она нашим намерениям не подчиняется. Если верить нашему автору, господин Хаджинс сумел создать у целой группы субъектов ряд высоко индивидуализированных и близких по характеру реакций внутренних органов на идеационный символ (idea-symbol) "contract!+- реакций, которые в каждом случае, исходя из опосредующего их субъективного опыта, могут быть возведены к причине по видимости отдаленной, но по сути своей физиологической: в данном примере, защита ретины от избытка света". И далее автор заключает: "Значение подобных опытов для психосоматических исследований и лингвистики в дополнительных пояснениях не нуждается".

Нам однако, со своей стороны, было бы интересно узнать, не будут ли наученные таким способом субъекты реагировать на произнесение этой же вокабулы в выражениях типа marriage contract, bridge-contract, breach of contract, или же ее самой, но при постепенном сокращении ее до первого слога: contract, contrac, contra, contr, ...

Контрольный опыт, без которого строгая методика обойтись не может, напрашивается здесь сам собой: что если слог этот произнесет сквозь зубы французский читатель, не подвергавшийся никакому воздействию, кроме яркого света, пролитого на данную проблему Жюлем Массерманом? И тогда мы спросим у этого последнего: всегда ли, по его мнению, результаты, наблюдаемые на лицах подготовленных, могут быть столь легко получены без всякой подготовки? Ибо одно из двух: либо результаты эти больше не появятся, что продемонстрирует отсутствие всякой, даже условной зависимости их от семантемы, или они будут по-прежнему появляться, ставя тем самым вопрос о границах этой последней.

Другими словами, благодаря им в самом инструменте слова выявится различие между означающим и означаемым, которое автор ничтоже сумняшеся объединяет в понятие idea-symbol. И нам нет нужды изучать реакцию подготовленных субъектов на команду don't contract! или на глагол to contract во всех его временных формах, чтобы указать автору, что говорить о принадлежности какого-то элемента языковой системы к языку можно в том случае, когда все носители данного языка способны выделить его как таковой внутри складывающегося из подобных элементов множества.

Отсюда следует, что конкретное воздействие этого элемента языка связано с существованием такого множества, и связь эта предшествует любой возможной связи этого элемента с конкретным опытом субъекта. Рассматривать же эту последнюю связь безотносительно к первой, значит отрицать в этом элементе его собственно языковую функцию.

Памятование об этих принципах не позволило бы нашему автору с беспримерной наивностью обнаруживать в отношениях реальности текстуальные соответствия выученным им в детстве грамматическим категориям.

Этот образец наивности- для данной области, впрочем, довольно характерный- не заслуживал бы такого внимания, если бы не был делом рук психоаналитика, или, лучше сказать, некоего лица, сумевшего как бы случайно соединить в себе все черты того направления психоанализа, которые под названием "теории Эго" или технике анализа защитных реакций, по сути дела противостоит фрейдовскому опыту, как бы "от противного" демонстрируя нерасторжимую связь этого опыта со здравым понятием о языке. Ибо открытие Фрейда- это открытие совокупности тех последствий, которые несет для природы человека его принадлежность к символическому строю, и прослеживание их смысла вплоть до обнаружения в бытии наиболее радикальных инстанций символизации. Игнорировать это- значит обречь открытие Фрейда на забвение и свести на нет его опыт.

И мы, ничуть не погрешая против серьезности нашего рассуждения, готовы утверждать, что лучше уж кресло, в которое, если верить нашему автору, Фрейд, по скромности своей, расположив его за диваном, поместил аналитика, занимал бы енот-полоскун, нежели ученый рассуждающий о языке и речи подобным образом.

Ибо с легкой руки Жака Превера (-один камень, два дома, три развалины, четыре могильщика, сад, цветы и енот-полоскун+) енот-полоскун, по крайней мере, навсегда занял место в поэтическом бестиарии и в этом качестве причастен по сущности своей к важнейшей функции символа, в то время как существо нам подобное, выказывающее систематическое непонимание этой функции, тем самым навеки отлучает себя от всего, что функция эта может вызвать к существованию. Вопрос о месте, принадлежащем подобным высказываниям в естественной классификации, мы были бы склонны рассматривать только как выражение некоего гуманизма, к нашему делу отношения не имеющего, если бы рассуждения эти, пересекаясь с охраняемой нами техникой слова, не оказались чрезмерно плодотворны, произведя на свет ряд стерильных монстров. Так вот, коль скоро он хвалится тем, что не боится упреков в антропоморфмизме, да будет ему известно, что пожелай я уличить его в намерении выдать себя за меру всех вещей, термином антропоморфизм я воспользуюсь для этого в последнюю очередь.

Но вернемся к нашему символическому объекту, который, утратив весомость утилитарную, материально остался вполне весомым, так что передача невесомого его смысла потребует перемещения некоторого веса. Действительно ли перед нами закон и язык? Похоже, что еще нет.

Ведь даже появись среди ласточек эдакий атаман, который, выхватывая из разинутых клювов других ласточек символическую рыбу, положил бы начало той эксплуатации ласточки ласточкой, о которой мы позволили себе однажды пофантазировать, этого вряд ли бы достало, чтобы воспроизвести у них ту, по образу нашей написанную, баснословную историю, что всех нас держала однажды пленниками на острове пингвинов; чтобы создать настоящую "ласточкину вселенную" еще чего-то явно не хватало бы.

Это "что-то" как раз и завершает собой символ, претворяя его в язык. Чтобы освобожденный от своего утилитарного назначения символический объект стал освобожденным от "здесь и теперь" словом, изменение должно пройзойти не в качестве его материи (звуковая она или нет- неважно), а в том неуловимом бытии его, где символ обретает постоянство концепта.

Посредством слова, -которое, собственно, уже и есть присутствие, созданное из отсутствия, отсутствие само, в тот начальый момент, постоянное воспроизведение которого различил в игре ребенка гений Фрейда, начинает именоваться. И вот из этой модулированной пары отсутствия и присутствия- которую, с таким же успехом, порождают начертанные на песке длинные и короткие штрихи китайских мантических "куа", - и рождается та вселенная языкового смысла, в которой упорядочивается впоследствии вселенная вещей.

С помощью того, что воплощается лишь в качестве следа некоего небытия и чей носитель с момента воплощения измениться не может, концепт, храня длительность преходящего, порождает вещь.

Мало сказать, что концепт и есть сама вещь- это, вопреки школьной мудрости, может доказать и ребенок. Именно мир слов и порождает мир вещей, поначалу смешанных в целом становящегося "здесь и теперь"; порождает, сообщая их сущности свое конкретное бытие, а тому, что пребывает от века к веку- свою вездесущность. Итак, человек говорит, но говорит он благодаря символу, который его человеком сделал. Ведь если назвавшего себя чужестранца встречают дары избыточно обильные, то жизнь естественных групп, образующих сообщество, подчиняется брачным правилам, регулирующим порядок обмена женщинами и соответствующие взаимные повинности, этими правилами определяемые; по пословице Сиронга, родственник со стороны супруги все равно что ляжка слона. Брак определяется порядком предпочтений, правила которого, включающие именования степеней родства, для группы, как и язык, императивны по форме, но бессознательны по своей структуре. И вот в структуре этой, гармония и тупики внутри которой регулируют ограниченный или обобщенный обмен, различаемый в ней этнологией, изумленный теоретик находит всю комбинаторную логику; законы числа, т.е. символа в наиболее чистом его виде, оказываются, таким образом, имманентными изначальному символизму. Во всяком случае в богатстве форм, в которые развиваются т.н. элементарные структуры родства, законы эти без труда прослеживаются. И это наводит на предположение, что лишь неосознанность их постоянства еще сохраняет у нас иллюзию в свободе выбора внутри тех якобы сложных брачных структур, под законом которых мы существуем. Недаром статистика дает понять, что свобода эта осуществляется не произвольно; ведь в результатах своих она сориентирована субъективной логикой.

Вот почему, признавая, что значение Эдипова комплекса распространяется на всю область нашего опыта, мы вправе сказать, что именно он определяет границы, которые наша дисциплина предписывает субъективности, т.е. определяет то, что субъект может узнать о своем бессознательном участии в движении сложных структур брачных уз, наблюдая в собственном индивидуальном существовании символические последствия тангенциального движения к инцесту, дающего о себе знать с момента возникновения универсального сообщества.

Изначальным Законом является, следовательно, тот, который, регулируя брачные союзы, ставит над царством природы, где господствует закон спаривания, царство культуры. Запрет инцеста является лишь субъективным стержнем этого закона, очевидным благодаря современной тенденции сводить запрещенные для выбора объекты к сестре и матери, хотя нельзя сказать, что все остальное нам уже позволено.

Закон этот, следовательно, достаточно ясно обнаруживает свою идентичность со строем языка. Ибо без именований родства никакая власть не в силах установить порядок предпочтений и табу, поколениями плетущих и связывающих нити наследственности. Именно смешение поколений Библия и все традиционные законы предают проклятию как словесную скверну и пагубу для грешника.

И мы прекрасно знаем, какое пагубное воздействие, вплоть до разрушения личности, может оказать на субъект фальсификация родственных связей, если ложь находит опору и поддержку в окружении. Не менее пагубные последствия могут возникнуть в случае, когда мужчина берет в жены мать женщины, от которой у него был ребенок: братом этого последнего окажется тогда брат его матери. И если впоследствии- а случай этот не придуман- он был из сочувствия усыновлен семьей дочери от предыдущего брака отца, то оказался сводным братом своей приемной матери, и нетрудно представить, с какими сложными чувствами должен он ожидать рождения ребенка, который придется ему одновременно братом и племянником.

Даже простое смещение поколений, происходящее с рождением позднего ребенка от второго брака, молодая мать которого оказывается ровесницей его старшего брата, может привести к почти таким же последствиям; как известно, сам Фрейд был именно в такой ситуации.

Та самая функция символической идентификации, с помощью которой первобытный человек воплощает в себе носившего его имя предка и которая обуславливает повторение ряда чередующихся характеров у современного человека, у субъектов, отношения которых с отцом оказались тем или иным образом нарушены, вызывает распад Эдипова комплекса, в котором и следует видеть источник дальнейших патогенных эффектов. Даже будучи представлена единственным лицом отцовская функция сосредотачивает в этом лице воображаемые и реальные отношения, которые всегда более или менее неадекватны символическому отношению, конституирующему ее сущность.

Именно в имени отца следует видеть носителя символической функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с образом закона. В ходе анализа данная концепция позволяет нам ясно отличать бессознательные эффекты этой функции как от нарциссических отношений, так и от отношений реальных, которые субъект поддерживает с образом и действиями лица, ее воплощающего; в результате рождается определенная форма понимания, отражающаяся на характере аналитического вмешательства. Практика убедила в плодотворности этого метода как нас самих, так и учеников, его у нас заимствовавших. И наоборот, в процессе контроля, в совместной аналитической работе, мы неоднократно имели случай обращать внимание на опасную путаницу, порождаемую непониманием этого метода.

Итак, именно сила слова увековечивает движение Великого Долга, власть которого Рабле, в своей знаменитой метафоре, распространяет на всю поднебесную. И нет ничего удивительного, что именно в главе, где макароническая инверсия именования степеней родства предвосхищает этнографические открытия нашего времени, обнаруживается прозрение Рабле в самую сердцевину той человеческой тайны, которую, что мы стараемся здесь прояснить.

Нерушимый Долг, идентифицируемый со священным "hau" или вездесущим "mana", служит гарантией того, что путешествие, в которое отправляются женщины и добро, непременно, совершив положенный цикл, вернет в точку отправления других женщин и другое добро, в своей сущности идентичных отправленным; Леви-Стросс называет это нулевым символом, сводя тем самым могущество Речи к форме алгебраического знака.

Символы и в самом деле опутывают жизнь человека густой сетью: это они еще прежде его появления в мире сочетают тех, от кого суждено ему произойти "по плоти"; это они уже к рождению его приносят вместе с дарами звезд, а то и с дарами фей, очертания его будущей судьбы; это они дают слова, которые сделают из него исповедника или отступника и определят закон действий, которые будут преследовать его даже там, где его еще нет, вплоть до жизни за гробом; и это благодаря им кончина его получит свой смысл на Страшном суде, где - не сумей он достичь субъективной реализации бытия-к-смерти- Словом его бытие оправдается или Словом же осудится.

Вот рабство и величие, в которых живое существо бесследно исчезло бы, если бы по смешении языков, когда противоречащие друг другу веления развалили общее дело, желание не сохранилось в интерференциях и пульсациях, сходящихся на нем в круговоротах языка.

Но само желание это, чтобы быть в человеке удовлетворенным, требует признания в символе или же в регистре воображаемого, что оборачивается поисками речевого согласия или борьбой за престиж.

Задача психоанализа состоит в том, чтобы воцарилась в субъекте толика реальности, которую желание это поддерживает в нем по отношению к символическим конфликтам и воображаемым фиксациям как средство их согласования; наш путь - это тот интерсубъективный опыт, в котором желание достигает признания.

Теперь становится ясно, что вся проблема состоит в отношениях речи и языка внутри субъекта.

В пределах нашей области мы наблюдаем в этих отношениях три парадокса.

В безумии, какова бы ни была его природа, мы должны различать, с одной стороны, отрицательную свободу речи, не притязающей более на признание, т.е. то, что мы называем препятствием к переносу, и, с другой стороны, своеобразные формы бреда, который- сказочный ли, фантастический, космологический, - требовательный, интерпретирующий или идеалистический, - объективирует субъект в лишенном диалектики языке (21).

Отсутствие речи обнаруживает себя в стереотипах дискурса, где субъект не столько говорит, сколько сказывается; символы бессознательного являются нам здесь в окаменевших формах, которые, наряду с мумифицированными формами, в которых сохраняются мифы в наших книгах по мифологии, находят себе место в естественной истории этих символов. Ошибочно, однако, полагать, будто субъект их усваивает, ибо сопротивление их признанию оказывается не меньшее, чем в случае неврозов, когда субъекта толкает на это сопротивление попытка лечения.

По ходу дела заметим, что полезно было бы проследить, какие места в социальном пространстве определяет для этих субъектов наша культура, особенно в отношении предоставления им социальных ролей, имеющих отношение к языку, ибо вполне вероятно, что при этом обнаружится один из факторов, делающих эти субъекты жертвами разрыва, вызванного характерными для сложных структур цивилизации символическими несоответствиями.

Второй случай представлен привилегированной областью психоаналитического открытия, т.е. симптомами торможения и страха в картине различных неврозов.

Речь изгнана здесь из упорядочивающего сознание конкретного дискурса, но находит себе опору либо в естественных функциях субъекта- что происходит, если какое-нибудь органическое расстройство провоцирует разрыв между индивидуальным бытием и его сущностью, благодаря которому болезнь становится посвящением живого существа в существование субъекта (22), - либо в образах, организующих структуру тех отношений, которые возникают между Umwelt и Innenwelt на их границе.

Симптом является здесь означающим вытесненного из сознания субъекта означаемого. Символ, начертанный на песке плоти и на покрывале Майи, он причастен языку в силу той семантической двусмысленности, которая уже отмечалась нами в его строении.

Но это и есть полноценно функционирующая речь, ибо в секрет ее шифра включен дискурс другого.

Именно расшифровка этой речи и привела Фрейда к открытию того первичного языка символов (23), что в неудовлетворенности человека, принадлежащего цивилизации (Das Unbehagen in der Kultur) дает о себе знать и поныне.

Иероглифы истерии, гербы фобии, лабиринты Zwangsneurosen, прелести бессилия, тайны внутреннего запрета, оракулы страха; говорящие гербы характера (24), печати самобичевания, маски извращения- вот недомолвки, которые наше толкование разрешает; двусмысленности, которые наш призыв рассеивает; уловки, которые оправдывает наша диалектика на пути освобождения плененного смысла, начиная от раскрытия палимпсеста и кончая разгадкой тайны и прощением речи.

Третий парадокс отношения языка к речи- это парадокс субъекта, теряющего свой смысл в объективациях дискурса. Сколь бы метафизичным ни казалось нам такое определение, мы не можем не признать присутствие этого парадокса на первом плане нашего опыта. Именно здесь имеет место наиболее глубокое отчуждение субъекта научной цивилизации, и именно с этим отчуждением мы сталкиваемся сразу же, как только субъект начинает о себе говорить; для полного его преодоления анализу пришлось бы приблизиться к границам мудрости.

В поисках образцовой формулировки этого парадокса нет почвы более благоприятной, нежели речевой обиход. Обратившись к нему, мы заметим, что на смену это [есмь] я современников Вийона у нас пришло это [есть] "мое я".

Мое я современного человека сформировалось, как мы уже говорили, в диалектическом тупике "прекрасной души", не умеющей разглядеть в обличаемом ею хаосе мира причины собственного своего бытия.

Но из тупика этого, где дискурс субъекта приобретает характер бреда, ему предлагается выход. Он может вступить в полноценное общение в рамках общего дела науки и в тех ролях, которые принадлежат ей в мировой цивилизации; внутри колоссальной объективации, этой наукой обусловленной, общение это будет эффективным и позволит ему забыть о своей субъективности. Он примет деятельное участие в этом общем деле своим повседневным трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые- от детектива до исторических мемуаров, от общеобразовательных лекций до ортопедии группового общения - дадут ему все необходимое, чтобы забыть о своем существовании и смерти и в мнимом общении пренебречь смыслом своей собственной жизни.

Если бы в регрессии, зачастую доводимой вплоть до стадии зеркала, субъект не нащупывал ограду арены, на которой "его собственное я" вершит свои воображаемые подвиги, то доверчивость, жертвой которой он неминуемо должен в этой ситуации пасть, не имела бы границ. Именно это возлагает на нас поистине страшную ответственность, когда пользуясь мифическими манипуляциями своего учения мы создаем для субъекта дополнительную возможность отчуждения- например, в распадающейся троице ego, superego, и id.

Здесь на пути речи встает стена языка, и предостережения против пустословия, служащие темой разговоров "нормального" человека нашей культуры, только делают эту стену толще.

Толщину ее вполне можно было бы выразить в статистическим путем рассчитанной сумме килограммов полиграфической продукции, километров дорожек грамофонной записи и часов радиовещания, которую производит данная культура на душу населения в зонах А, В и С своего распространения. Это могло бы дать нашим культурным организациям отличный объект для исследований, и в результате сразу стало бы ясно, что вопрос языка не вмещается в пространство мозговых извилин, где отражаются его использование в индивиде.

We are the hollow men

We are the stuffed men

Leaning together

Headpiece filled with straw. Alas!-\*

и так далее

Но коль скоро приведенная нами выше формула- т.е. субъект не говорит, а сказывается- адекватна, то сходство этой ситуации с отчуждением, имеющим место в безумии, с очевидностью следует из предполагаемого психоанализом требования "истинной" речи. Если следствие это, предельно заостряющее парадоксальность того, о чем здесь говорится, стали бы использовать как свидетельство об отсутствии в психоаналитической перспективе здравого смысла, мы вполне признали бы основательность возражения, но обнаружили бы в нем лишнее подтверждение своей позиции, сделав для этого диалектический ход, у которого немало законных крестных: вспомним хотя бы Гегеля, выступавшего против "черепной философии", и предупреждения Паскаля, вторящего ему, еще на заре исторической эры "моего собственного я": "люди с такой необходимостью являются сумасшедшими, что не быть сумасшедшим значило бы просто быть сумасшедшим на новом витке сумасшествия".

Этим мы вовсе не хотим, однако, сказать, будто культура наша по отношению к творческой субъективности пребывает во тьме внешней. Напротив, субъективность эта никогда не оставляла борьбы за обновление неисчерпаемого могущества символов в рождающем их межчеловеческом обмене.

Придавать значение немногочисленности субъектов, которые являются носителями этой творческой активности, было бы отступлением на точку зрения романтизма, сопоставляющую явления, отнюдь между собой не эквивалентные. Дело в том, что субъективность эта, в какой бы области она ни проявлялась- в политике ли, в математике, в религии, или даже в рекламе- продолжает оставаться одушевляющим началом всего движения человечества в целом. Другой же взгляд, не менее обманчивый, заставил бы нас отметить противоположную ее черту: никогда еще не проступал так явно ее символический характер. Ирония революций состоит в том, что они порождают власть тем более абсолютную в своих проявлениях не оттого, что, как считают многие, она более анонимна, а оттого, что она в большей степени сводится к означающим ее словам. И более чем когда-либо, с другой стороны, власть церквей обусловлена языком, который они сумели сохранить- момент, который, надо сказать, остался несколько в тени у Фрейда в той статье, где он описывает то, что мы назвали бы коллективными субъективностями церкви и армии.

Психоанализ сыграл определенную роль в ориентации современной субъективности, и он не сможет сохранить эту роль, не согласовав ее с тем направлением современной науки, которое вносит в нее ясность.

В этом и состоит проблема основания, которое должно обеспечить нашей дисциплине подобающее место среди других наук: проблема формализации, по сути дела совсем еще не разработанная.

Ибо похоже, что теперь, когда медицинское мышление, в борьбе с которым складывался некогда психоанализ, вновь возобладало в нем, нам, чтобы догнать науку, предстоит, как и самой медицине, преодолеть отставание на добрых полвека.

В абстрактной объективации нашего опыта на фиктивных, а то и вообще симулированных, принципах экспериментального метода, мы видим результат предрассудков, от которых наше поле необходимо очистить, прежде чем мы начнем разрабатывать его в соответствии с его подлинной структурой.

Странно, что мы, чья практика опирается на символическую функцию, отказываемся от попыток углубить ее, не желая признать, что именно благодаря ей мы оказываемся в центре движения, которое устанавливает новый порядок наук, ведущий к пересмотру традиционной антропологии.

Этот новый порядок означает не что иное, как возврат к понятию истинной науки, заявившей о себе в традиции, отправляющейся от Теэтета. Как известно, понятие это было искажено позитивистской революцией, которая, поместив науки о человеке на вершину пирамиды экспериментальных наук, на деле их этим наукам подчинила. Объясняется такое положение дел ошибочным взглядом на историю науки, основанным на престиже специализированного экспериментирования.

Но в наши дни, когда науки, основанные на предположениях, открывают издавна бытовавшее понятие о науке заново, мы обязаны пересмотреть унаследованную от 19-го столетия классификацию наук под углом зрения, на который наиболее проницательные умы совершенно ясно указывают.

Чтобы отдать себе в этом отчет, достаточно проследить ход конкретной эволюции различных дисциплин.

Проводником при этом нам может послужить лингвистика, ибо именно она находится на острие современных антропологических исследований, и пройти мимо этого факта мы не вправе.

Математизированная форма, в которую вписывается открытие фонемы как функции парных оппозиций, образованных наименьшими доступными восприятию различительными элементами семантики, приводит нас к основам позднейшего учения Фрейда, усматривающего субъективные источники символической функции в огласовке присутствия и отсутствия.

Сведение же всякого языка к небольшому числу подобных фонематических оппозиций, полагая начало жесткой формализации морфем самого высокого порядка, открывает перед нами возможность строгого исследования интересующего нас поля.

От нас самих зависит, как мы этим готовым аппаратом воспользуемся; параллельно с нами это уже сделала современная этнография, которая расшифровывает мифы, опираясь на синхронию мифем.

Не замечательно ли, что Леви-Стросс, проводящий мысль о причастности структур языка к социальным законам регуляции брачных союзов, вступил на ту самую территорию, которую отвел для бессознательного Фрейд? (25)

Отныне уже невозможно не сделать общую теорию символа осью новой классификации наук, в которой науки о человеке вновь займут свое центральное место как науки о субъективности. Укажем их основной принцип, нуждающийся еще, конечно, в дальнейшей разработке.

Символическая функция обнаруживает себя как двойное движение внутри субъекта: человек сначала превращает свое действие в объект, но затем, в нужное время, снова восстанавливает это действие в качестве основания. Двусмысленность этой каждый момент дающей о себе знать процедуры и задает поступательный ход функции, непрерывно чередующей действие и познание (26).

Два примера: один заимствован со школьной скамьи, другой из нашей повседневности.

Первый пример, математический: на начальном этапе человек объективирует в двух количественных числительных два сосчитанных им множества предметов; на втором этапе он с помощью этих чисел осуществляет акт сложения множеств (ср. пример, приводимый Кантом в параграфе 4 Введения в трансцендентальную эстетику во втором издании Критики чистого разума.)

Другой пример, исторический: на первом этапе человек, занятый в общественном производстве, зачисляет себя в разряд пролетариев, на втором он, во имя принадлежности к ним, принимает участие во всеобщей забастовке.

Если примеры эти взяты из конкретных областей, представляющихся нам прямо противоположными- все более широкое применение математического закона с одной стороны, "медный лоб" капиталистической эксплуатации, с другой, - то объясняется это тем, что несмотря на кажущуюся их отдаленность следствия их в равной мере основоположны и в процессе описанного нами двойного превращения неизбежно друг с другом пересекаются: наиболее субъективная из наук созидает новую реальность, а тень общественного распределения берет на вооружение действенный символ.

Похоже, что противопоставление точных наук тем, от наименования которых "предположительными" мы не станем отказываться, становится неприемлемым ввиду отсутствия для такого противопоставления какого-либо основания (27).

Ибо точность отлична от истины, а предположение отнюдь не исключает строгости. И если экспериментальная наука получает от математики точность, ее отношение к природе не становится от этого менее проблематичным.

Если связь наша с природой действительно рождает в нас поэтически окрашенный вопрос о том, не ее ли собственное движение открываем мы заново в своей науке, слыша

...голос тот,

Который знает,

Что он теперь ничей,

Как глас деревьев и вод+-\*,

то очевидно, что физика наша есть лишь ментальная конструкция, инструментом которой является математический символ.

Ибо экспериментальная наука определяется не столько количеством, к которому она действительно применяется, сколько мерой, которую она вводит в реальное.

Это явствует уже из измерения времени, без которого экспериментальная наука была бы невозможна. Часы Гюйгенса, которые, собственно, и обеспечивают ее точность, являются всего-навсего органом, реализующим гипотезу Галилея о гравитации тел, т.е. о равномерности ускорения, которое, будучи всегда одним и тем же, определяет закон всякого падения.

Забавно, однако, что прибор был изготовлен раньше, нежели гипотеза эта могла быть подтверждена наблюдениями, и что тем самым часы сделали наблюдения бесполезными, одновременно сообщив им необходимую строгость (28).

Но математика может символизировать другое время- то организующее человеческую деятельность интерсубъективное время, формулы которого мы начинаем получать из теории игр, именуемой все еще стратегией, хотя лучше всего было бы называть ее стохастикой.

Автор этих строк пытался некогда выявить в логике одного софизма временные пружины, посредством которых действия человека, сообразуясь с действиями другого, обретают в следовании метрике его колебаний приход уверенности, и в венчающем эту уверенность решении дают действиям другого- которые они отныне включают- подтверждение (в отношении прошлого) и смысл, который им предстоит получить в будущем.

Тем самым доказывается, что именно уверенность, предвосхищаемая субъектом в промежутке времени для понимания, определяет- в спешке, ускоряющей момент заключения, - решение другого, в зависимости от которого собственное движение субъекта становится ошибкой или же истиной.

На этом примере видно, каким образом математическая формализация, вдохновившая логику Буля, не говоря уж о теории множеств, может привнести в науку о человеческом действии то понятие структуры интерсубъективного времени, в котором нуждается для обеспечения строгости своих выводов психоаналитическая гипотеза.

Если, с другой стороны, история техники исторической науки показывает, что идеальной мерой ее прогресса служит идентификация субъективности историка с субъективностью, конституирующей первичную историзацию, в которой событие очеловечивается, то очевидно, что психоанализ в точности в эту меру укладывается, - как в отношении познания, поскольку он именно этот идеал реализует, так и в отношении эффективности, которая получает здесь свое обоснование. К тому же пример истории рассеивает мираж "переживаемой реакции", которым одержима как наша техника, так и наша теория, -ибо основополагающей историчности запоминаемого события вполне достаточно для того, чтобы представить себе возможность субъективного воспроизведения прошлого в настоящем.

Более того, пример этот позволяет нам понять, каким образом психоаналитическая регрессия может включить в себя то поступательное измерение истории субъекта, которого, по мнению Фрейда, не хватало концепции невротической регрессии Юнга. В результате нам становится понятно и то, каким образом сам опыт стимулирует это поступательное движение, обеспечивая его возобновление.

И, наконец, обращение к лингвистике открывает доступ к методу, который, различая в языке диахронические и синхронические структурные образования, позволяет нам лучше понять различный смысл, приобретаемый нашим языком в интерпретациях сопротивления и переноса, а также научиться отличать последствия вытеснения от структуры индивидуального мифа в обсессивных неврозах.

Известен перечень дополнительных дисциплин, которые Фрейд считал необходимым изучать на идеальном факультете психоанализа. Наряду с психиатрией и сексологией в него включены "история цивилизации, мифология, психология религий, история и литературная критика".

Совокупность этих обнимающих курс техники психоанализа предметов без труда вписывается в эпистемологический треугольник, который мы обрисовали и который определяет методику высшего образования по теории и технике психоанализа.

Со своей стороны мы добавили бы сюда еще риторику, диалектику в том техническом смысле, который закреплен за этим термином начиная с Топики Аристотеля, грамматику, и наконец, венец эстетики языка- поэтику, которая должна включать и остающуюся доныне в тени технику остроумия.

И пусть для многих названия этих предметов звучат несколько старомодно, мы все же сохранили бы их хотя бы в знак возврата к своим истокам.

Ибо на первых порах психоанализ, тесно связанный с открытием и изучением символов, сближался по структуре своей с тем, что в Средние века именовали "свободными искусствами". Лишенный, как и все они, подлинной формализации, он постепенно превращался, подобно им, в корпус привилегированных проблем, каждая из которых поднималась благодаря тому или иному удачному соотнесению человека с его собственной мерой, в самом этом частном характере черпая прелесть и человечность, способные компенсировать в наших глазах тот несколько несерьезный облик, в котором эти проблемы нам преподносились. Не будем, однако, относиться к этому свойственному психоанализу на первых порах облику, свысока; ибо на деле за ним стоит серьезный труд по воссозданию человеческого смысла в скудные времена сциентизма.

Психоанализ этого раннего периода не заслуживает презрительного отношения еще и потому, что впоследствии он не поднялся на новый уровень, а пошел по ложному пути теоретизации, противоречащей его диалектической структуре.

Дать научное обоснование своей теории и практике психоанализ может лишь путем адекватной формализации существенных измерений своего опыта, к которым, наряду с исторической теорией символа, относятся интерсубъективная логика и темпоральность субъекта.